



А. КУСТАРЕВ

Золотые 1970-е — ностальгия и реабилитация

La nostalgie est d'autant plus passionnelle et d'autant plus caractéristique qu'elle est objectivement moins fondé.

Vladimir Yankélévitch¹

«Ностальгия тем острее и подлиннее, чем меньше для нее объективных оснований». Так писал знавший в ностальгии толк Владимир Янкелевич*. Ностальгия — душевное состояние индивида. Тональность этого состояния неопределенна и лучше всего обозначается словами поэта «печаль моя светла». Ее объект — *невозвратно* ушедшее, навсегда потерянное, что Янкелевич и подчеркивает самым названием своего трактата.

Искренняя ностальгия направлена на объект в пределах лично пережитого. В принципе ностальгировать можно по поводу чего угодно, включая пейзаж, только что мелькнувший за окном поезда, или вчерашнюю вечеринку, но чаще и сильнее всего индивид ностальгирует по «лучшим годам» («прайм-тайм») своей жизни, и больше всего он подвержен ностальгии, так сказать, «на закате» своей жизни. Объект ностальгии движется вдоль стрелы времени вслед за субъектом на некотором расстоянии. С началом XXI века как будто бы пришло время 1970-м годам стать объектом ностальгии для самого нарративно-активного и зрелого поколения, а вместе с ним и всего общества.

Всеобщее, демонстративное и экзальтированное увлечение 1970-ми годами стилизовано под ностальгию. К этой стилизации склонен и сам индивид, но еще больше этому способствует массовая арт-индустрия, получившая в свое распоряжение огромный товарный ресурс благодаря эффективным средствам хранения и воспроизведения образов прошлого. Но одной ностальгии и ее эксплуатации арт-индустрией мало, чтобы объяснить размах экзальтирования (а говоря попросту, «прославления») 1970-х годов.

* Yankélévitch V. *L'irréversible et la nostalgie*. P.: Flammarion, 1974. P. 353.

Невинная тоска по «старым песням» маскирует культурные и социальные предпочтения. Арт-индустрия, пусть даже политически кем-то инспирированная, в конце концов, ведь удовлетворяет спрос, или, как говорили в былые времена, «идет навстречу пожеланиям трудящихся» — ах, какой изящной прозой говорили раньше...

О предпочтениях трудящихся (виноват, покупателей) дает представление положительная мифология 1970-х — не очень четко прорисованная, но все же достаточно различимая. Сперва напомним ее, а потом реконструируем реальность, которую эта мифология пытается описать на доступном ее агенту языке.

1970-е годы (эпоха «развитого социализма»), согласно положительному мифу, были самыми благополучными для советского человека, эпохой достатка. Это раз.

1970-е годы, продолжает миф, были эпохой стабильности. Это два.

1970-е годы, напоминает миф, были последним десятилетием, когда советский человек еще мог полагаться на государственную систему социального обеспечения. Это три.

Миф также приписывает особое высокое качество культурной жизни того времени и напоминает о тогдашней атмосфере равенства и о полноценных («теплых») человеческих отношениях, что, разумеется, не монополия 1970-х, но, как мы заметили раньше, вспоминающее общество сейчас сконцентрировано на 1970-х и относит к ним то, что можно было бы отнести ко всей советской эпохе.

Но ни сравнительное благополучие, ни стабильность, ни советский собес, ни равенство, ни человечность общения не переживались положительно в 1970-е. Они либо не замечались, либо высмеивались как иллюзорные, либо вообще воспринимались с противоположным знаком.

Потребительские ожидания обывателя в ту эпоху росли намного быстрее их удовлетворения, и вместо благополучия обыватель видел «дефицит». «Стабильность» не успокаивала, а настораживала и раздражала. Советский вэлфэр² (собес) уже тогда (независимо от его реального качества) попросту презирался. Именно тогда вошла в обиход шутка: «Кто даром лечится, лечится даром». Все, кто мог, переводили детей из обычной советской школы в «специальную». Я уже не говорю о таких печально известных сторонах советской жизни, как лимиты на прописку, невозможность ездить за границу, цензура и назойливая пропаганда.

И вот теперь оказывается, что это все забыто. Сами достаток, стабильность и собес, они же дефицит, застой и эффективность/неэффективность собеса, какими были, такими и остались — ста-

кан был наполовину полон и наполовину пуст. Но тогда казалось, что стакан пуст. Теперь кажется, что стакан был полон. Почему произошла такая переоценка?

Отчасти это эффект ностальгии, всегда корректирующей наше отношение к прошлому. Тот же Янкелевич замечает: «Любовь и ностальгия произвольны до полной бессмысленности и могут быть направлены на то, что объективно должно бы вызывать ужас и отвращение»*. Чистая ностальгия не стимулирует поиски «хорошего» ни в каком прошлом, но воспоминания о «плохом» она заглушает — это правда.

Конечно, стремительное и глубокое падение благосостояния широких слоев населения и особенно возрастных когорт, близких в 1990-м году к пенсии, помогло забыть все плохое, что было в прошлом, и вспомнить все, что было хорошего, и даже пересмотреть свое отношение к «плохому», обнаружив в нем (обоснованно или нет) «хорошее».

Так вместо дефицита стали вспоминать достаток, вместо застоя — стабильность, а вместо нищенства больниц и бессилия медицины бесплатность и доступность собеса. В 1970-е, кстати, без конца напоминали друг другу, что эта пресловутая бесплатность — жульничество.

Равенство ненавидели как таковое. Его считали принудительной уравниловкой. Шли постоянные разговоры о том, что социализм игнорирует разницу между индивидами и не хочет их вознаграждать по достоинству и заслугам. Тогда все жаждали «меритократии».

Полноценности человеческих отношений никто в упор не видел. Индивид был убежден, что заперт в окаменевшей структуре бюрократически-должностных отношений — бесчеловечных *rag excellence*³.

Теперь как будто бы, попробовав неравенства, индивид начал понимать настоящую ценность равенства. А вступив друг с другом в косвенные и обезличенные рыночно-деловые отношения, индивиды как будто бы вспомнили об утраченной «человечности» межличностных отношений.

Но реальность была гораздо двусмысленнее и интереснее. Сложные социальные практики того времени остались неотрефлексированы и не обозначены в памяти. Попробуем их нащупать. Речь пойдет об импликациях *дефицита*. Того самого, что в 1970-е годы доминировал в сознании обывателя, так же как теперь — «олигархи».

* Ibid. P. 354.

Есть основания думать, что к 1970-м годам «дефицит» стал единственным определяющим элементом советской системы. По крайней мере один видный экономист (Янош Корнай) толковал экономику дефицита не как простой порок советского общества и результат некомпетентного планирования, а как полноценный тип хозяйственного строя, пользуясь для его описания даже терминами, принятыми в общей макроэкономической теории, например «рынок продавца» (seller's market), «подавленная инфляция» (repressed inflation), «перегрев» (overheating). В его трактовке суть экономики дефицита не в том, что она производит мало, а в том, что «чем меньше отставание производства от спроса, тем труднее [экономике] к этому приспособиться»*. То есть чем меньше дефицит, тем хуже для процесса воспроизводства. Плановой социалистической системе нужен дефицит: воспроизводясь, она «дышит» дефицитом.

Экономике дефицита соответствует особая социальная структура. Советское общество не было «классовым» ни в марксистском, ни в веберовском⁴ (имущественная стратификация складывается на рынке) смысле этого понятия, но было статусно-престижным. И хронический дефицит оказался в основе всей советской системы престижей.

Вещь имеет ценность, поскольку она дефицитна. Но в денежно-классовом (капиталистическом) обществе дефицитны только вещи, которых мало и не может быть много. Поэтому они дороги и просто сигнализируют, что их обладатель богат. Первичным статусом обладает само богатство.

В советском обществе дело обстоит иначе. В экономике дефицита «выпуск продукции не контролируется ценой»** и соответственно доступность (недоступность) товара не зависит от его цены. В этих условиях любая вещь — от бриллианта до гвоздя — приобретает престижную ценность. А ее приобретение возможно не только на рынке, но и в иных распределительных сетях преимущественного права покупки (pre — emptio). Их было несколько: блат, левый сектор, ведомственное снабжение, спецраспределители.

Это порождает гораздо более сложную статусно-престижную систему, чем в денежно-капиталистическом обществе. У нее принципиально тройная конфигурация. Одна стратификация проста и делит общество привычным для глаза образом на тех, кто «имеет», и тех, кто «не имеет». Другая делит людей по при-

* Kornai J. Economics of Shortage. N. Y., 1980. P. 183.

** Ibid. P. 338.

надлежности к той или иной распределительной сети. В третьей принадлежности к верхнему слою не фиксирована. Люди входят в него и выходят обратно. Входят, когда «достают», и каждый раз входят, так сказать, заново. Обыватель научается находить удовлетворение в том, что регулярно «гостит» в высоком статусе. Такое же удовлетворение получает тот, кто примеряет в бутиках ювелирные изделия и дорогие тряпки, не покупая их.

Эта система *фрагментированного и пульсирующего* статуса в обществе дефицита перекрывает устойчивое имущественное расслоение, которое в советском обществе само по себе было рудиментарно и к тому же плохо видно из-за непрозрачности общества.

Благодаря подвижной статусной структуре возникает синкретизм равенства и неравенства. Индивид в таком обществе может чувствовать себя равным соседу и выше или ниже его — по обстоятельствам, время от времени и по своему выбору. Все равны и неравны одновременно, и, более того, хотя некоторые равнее других⁵, но также все равнее всех, и каждый равнее другого в порядке очереди. В такой системе абсолютно инструментален совет Козьмы Пруткова: если хочешь быть счастливым, будь им.

Разумеется, эта сюрреальность может иметь и прямо противоположный эффект, порождая, наоборот, глубоко несчастное сознание тех, кто больше переживает временную утрату статуса, чем его обретение, и не уверен в престижности самой распределительной сети, которая ему доступна. И похоже, что в 1970-е годы агентура статуса так и воспринимала эту аморфную действительность. Но вот 1970-е ушли в прошлое, стало намного заметнее деление на тех, кто «имеет», и тех, кто «не имеет», «имущие» стали загребать себе все мыслимые статусы и достали всех своей статусной показухой. Неудивительно, что статусная реальность эпохи 1970-х стала вспоминаться другой своей стороной. Статусные поражения забылись, статусные достижения запомнились и окрасили в светлые тона столь обрыдшее всем в свое время «равенство».

Межличностные отношения в условиях дефицита теперь вспоминаются как особо «человечные», потому что статусно-престижные практики и практики добывания дефицитного товара благоприятны для удовлетворения потребности индивида в уважении. Никто не может достать все. Каждый достает что-то. И все достают не одновременно, а поочередно. И каждый каждого за это уважает. Сегодня ты уважаешь меня, завтра я тебя. Перефразируя знаменитую сентенцию Энди Уорхола⁶, можно сказать, что такая общественная практика обеспечивает каждому его «пятнадцать минут уважения».

Участники общения умышленно экзальтируют это взаимное уважение. Тут действует очень сильный компенсаторный импульс.

Давление дефицита воспринимается как унижение, и это чувство надо заглушать. Проще всего этого можно добиться демонстрацией уважения к соседу, который занят тем же. Взамен он будет уважать тебя. За лестью соседу скрывается лесть самому себе.

И эта коллизия чревата не только положительным переживанием, но и несчастным сознанием. Обратная сторона этой медали — взаимная социальная ревность. Чего было больше в «структуре чувствования» советского субъекта в то время, сказать трудно. Вероятнее всего, оба эти элемента актуализировались поочередно. Вспоминать можно потом одно из двух по выбору.

Наконец, в бартерной экономике дефицита велика роль взаимных услуг. Все достают что-то друг другу. Даже когда вещь перепродается, в ней остается оттенок подарка, и все благодарны друг другу за это (фольклор: чтобы ты меня крепче любила, чтобы слаще был твой поцелуй, подарю я тебе ящик мыла, хочешь — мойся, а хочешь — торгуй).

Таким образом, отношения по поводу дефицита строились по схеме, которую предложил в свое время для интерпретации «примитивных обществ» Марсель Мосс («Очерк о даре»). Позволю себе напомнить, что я приложил эту схему для интерпретации отношений в одной из subsystem советского общества в эссе «Акт похвалы и общественный порядок»*. Работая над этой заметкой, я узнал**, что несколько чешских авторов примерно в то же время вдохновлялись схемой Мосса, интерпретируя именно «развитой социализм». Они даже склонны были под влиянием этой схемы вообще сомневаться в его «модерности» (на мой взгляд, заклеить социализм как архаику нетрудно, но большого познавательного эффекта это не дает. Многие практики, заклеенные как архаические, на самом деле универсальны и сохраняются не только как периферийные пережитки в модерне и тем более в постмодерне).

Дефицит имеет множественное отношение к практике интеллектуального общения и совместной культурной жизни («салонная» практика). Во-первых, обмен комплиментами в салоне подобен обмену дефицитным товаром. Во-вторых, интенсивность салонной жизни связана с суммарным дефицитом материально-товарной массы, поскольку компенсирует участникам разговоров скудость

* *Кустарев А.* Акт похвалы и общественный порядок // Синтаксис. 1988. № 23. (Текст включен в книгу: *Кустарев А.* Нервные люди. М., 2005.) См. также полемику вокруг этой книги в журнале «Неприкосновенный запас» (2006. № 3). — *Примеч. ред.*

** Из пересказа в: *Reinprecht Ch.* Nostalgie und Amnesie: Bewertungen von Vergangenheit in der Tschechischen Republik und in Ungarn. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik, 1996.

«вещпакета». В-третьих, постоянное обсуждение дефицита, обмен информацией и рассказы о подвигах доставания занимали значительное место в салонной коммуникации. Если бы в 1970-е годы создавался народный эпос, то вместо Грааля или Золотого руна он строился бы вокруг Синей птицы дефицита.

Было еще кое-что, что теперь приятно вспомнить. На этот счет был один живучий анекдот про старую даму, приехавшую к сыну-дипломату в Америку и быстро заскучавшую там. В Америке, по ее мнению, оказалась безрадостная жизнь, У нас, говорила она, достанешь сметаны — рад, купишь колбасы — счастлив. А что здесь? Никаких радостей в жизни. Если отвлечься от горького сарказма этой шутки, то в ней много правды. Радость человека, доставляющего товары, искренна и естественна.

Охота за товарами требует значительных и разнообразных энергетических затрат: стояние в очередях, обход магазинов в поисках удачи, поездки в «столицы потребления» и прочее. Достав что-то, человек видит результаты своего труда. Цена удачной потребительской вылазки была особенно велика в советском обществе, где работа на государственном производстве воспринималась как простая повинность; квалификация и усердие практически не ценились, произведенным продуктом человек не распоряжался. А даже безуспешная охота за товаром была экзистенциально полноценна. Так же как, скажем, в бушменском обществе, производственная база которого — охота и собирательство. Или как военная атака. Или как разбойный налет. Или как предпринимательская инициатива.

Все эти практики и возникающие на их основе структуры амбивалентны и в силу этого легко переоцениваются. Что и обнаруживается при сравнении нарративов того времени и последующих мифологических нарративов.

Возможна ли объективная интерпретация опыта развитого социализма, который сейчас вспоминается, повторно переживается и обсуждается под ярлыком «эпоха 1970-х». Я думаю, что возможна. Более того, мы можем обнаружить в них объективные достоинства.

Во-первых, это было общество никем не предусмотренной и эмпирически сложившейся весьма сбалансированной статусной системы, что есть одно из условий, если не главное условие, легитимности порядка и в этом смысле его устойчивости. Как угодно, но тогдашнее советское общество представляло собой некоторое приближение к обществу «равных возможностей». Не меньшее приближение, чем американское, если не большее. Правда, в сфере потребления, а не производства. Хотя благодаря экономике

дефицита добыча дефицитного продукта в домохозяйстве (как экономической ячейке) и становилась производством, превращая домохозяйство в малое предприятие со своей бухгалтерией издержек и выгод (*costs-benefits*⁷).

Во-вторых, межличностные отношения распространялись на гораздо более широкую сферу функциональных отношений в обществе, что компенсировало отчуждение. Экономика домохозяйства как малого бизнеса была, если угодно, экономикой «с человеческим лицом».

Нынешнее советское общество в этих двух отношениях существенно проигрывает при сопоставлении с обществом развитого социализма в советском варианте. Но нельзя забывать, что и статусный баланс, и содержательность межличностных связей в том обществе были спутниками дефицита, бартера и неразделенности экономики и быта. Как их поддержать в обществе, где дефицитны только деньги, а экономика и быт разделены, — проблема нарастающей важности. Эту проблему решают теперь Америка и Европа. Пока никому не приходило в голову обратиться для ее решения за помощью к экономике дефицита.

В то же время становится все менее ясно, как долго продержится экономика неограниченного роста на основе растущего потребления. Экономика дефицита не исключала расширенное воспроизводство (экономический рост), но значит ли это, что режим простого воспроизводства (нулевой рост) возможен без манипулирования дефицитом? Если он потребует жесткого планирования, напомним, что Янош Корнай использует понятие «жесткое планирование» (*taut planning*) как синоним экономики дефицита. Я не настаиваю, что такой поворот мысли сейчас жгуче актуален, но тех, кто настаивает, что «нулевой рост» желателен и неизбежен, становится все больше, не так ли? Это, конечно, как говорят англичане, еще ничего не доказывает, но интересно.

